

(Начало в №№ 39, 45, 51, 63, 81, 88, 99 за 2004 год, 5, 18, 25, 46, 57, 73, 96 за 2005 год, 17, 33, 77, за 2006 год, 16, 86 за 2008 год, 20 за 2009, 17 за 2010 год)

22

На Земле есть много мест, которые считаются райскими. Но в их списке нет ни одного города. Шумная и суетливая городская жизнь никому и никогда не дарила существования, как в раю. Уж на что Париж, казалось бы, предназначался на роль второго земного Эдема. И основан он был на острове в излучине реки Сена – месте столь живописном, что можно было принять его за райские кущи. И обитателями острова еще с конца первого тысячелетия до новой эры были паризии – кельтские выходцы из Малой Азии. Они пришли сюда словно для того, чтобы передать европейцам память о некоем «Саде вечного Света», который на Востоке почитался как высшая реальность человеческого существования, освобожденного от страданий и бед этого мира.

И имя своё город на берегах Сены получил подобающее райскому статусу. Если из французского слова «paradis» (а оно древнеиранского происхождения и означало сад, подобный Эдемскому), убрать слог «ad», то получится Paris. И Елисейские Поля появились в Париже, словно ещё одно напоминание о Востоке – о Полях Иалу, которые в Древнем Египте почитались как место вкушения блаженства после смерти. И парижские бульвары одним своим видом манили, как магнит, к себе всех тех, кто хотел бы вырваться из монотонной, тусклой обыденности к иному бытию – пронизанному светом неисчезающей радости и очарования жизни, как на картинах французских импрессионистов. «Увидеть Париж и умереть!» – сколько людей в разных странах мира повторяли эту фразу. Покорённый этим городом, где художники и писатели обрели свою вторую родину, американец Эрнест Хемингуэй напишет: «В Париже ничто и никогда не кончается... Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж – праздник, который всегда с тобой».

И даже весть о рождении нового мира, в котором, как в раю, возможно достичь Счастья для всего человечества, пришла из Парижа. Это было в конце восемнадцатого века. 22 сентября 1792 года французские революционеры объявили о начале невиданной доселе эры. Гёте, узнав о рождении первой Французской республики, не удержался от восклицания: «Здесь начинается новая глава мировой истории». Самим сокрушителям Бастилии, символа старого мира, будет казаться, что до цели рукой подать. Стоит её провозгласить, и всё изменится. В декрете от 7 мая 1794 года французский Национальный Конвент вместо религиозных праздников ввёл новые символы общенационального поклонения – всему человеческому роду, Свободе и Равенству, Истине и Справедливости, простоте нравов и чистосердечию. А в конце длинного перечня того, из чего должно складываться светлое Будущее, стояло Счастье как вершина всех человеческих идеалов. И первый шаг к этому, казалось, сделал Париж – шаг к исполнению великой Мечты...

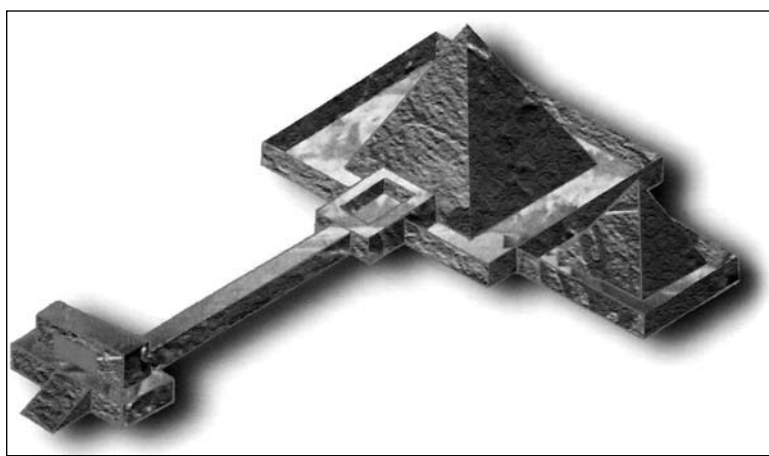
Для отрезвления парижанам хватило всего несколько лет кровавого революционного террора. Если на пути к всеобщему Счастью нужно пролить столько крови, то тогда зачем нужно опасное наваждение Идеала? Пусть жизнь будет такой, какой она есть. Что поделаешь! «Се ля ви!» – «Такова жизнь!» Даруемые ею наслаждения в Париже вполне могут заменить туманные грёзы о том, что, возможно, не достичь ни одному поколению человеческого рода. Очарование Елисейских Полей, Сены, её набережных так сильно, так неисчерпаемо, что здесь поневоле можно забыть обо всём на свете, даже о том, что сам-то Париж возмущается не на земле обетованной, а на грешной, очень грешной земле, где растут и дают свои плоды «цветы зла». Только философы да поэты вроде парижанина Шарля Бодлера знают, в какой самообман они погружают чело-

веческую душу. Кажется, что это цветы Эдема, но в Эдемском Саду таких цветов не найти. И в рай с ними не войдешь – бдительный херувим, стоящий у входа в райскую обитель с пламенным мечом, вмиг отсечет такому пришельцу «голову».

В девятнадцатом веке многие ехали в Париж с надеждой обрести здесь путеводную звезду жизни, а находили тягостное разочарование. Западник Александр Герцен именно в столице Франции потерял веру не только в этот город, но и во всю западную цивилизацию. Она оказалась отнюдь не такой, какой представлялась из русского далёка. Идеологический оппонент Герцена славянофил Алексей Хомяков пережил на берегах Сены те же самые чувства. «Жить в Париже, – писал он, – я не хотел бы...Перекипевшая жизнь западного мира оставила холод сердца». От русских искателей

пись, всё чаще задумывался вместе с ней об Эдеме. «Узреть блаженство хоть краешком глаза – разве это не предвкушение нирваны?» – писал он в одном писем. Художник не очень-то доверял церковной догме, обещавшей верующим рай за соблюдение перечня добродетелей. Он просто рисовал в своём воображении некую счастливую страну, где можно было бы найти жизнь такую же чистую и прекрасную, как у Адама и Евы в Эдемском Саду.

Но где та страна? «Где-то там, за пределами мира», или всё же здесь, на Земле? В Париже лучше было не пытаться узреть что-либо подобное: тут Адам и Ева не смогли бы просуществовать без «грехопадения» и дня. И никакой пастырь не помог бы им возвратиться отсюда снова в рай. Не было у Гогена иллюзий и по отношению к какому-нибудь другому городу западной цивилизации. «Запад прогнил в



Так выглядел в Древнем Египте комплекс пирамид в Гизе (компьютерная реконструкция). Ключ был символом посвящения в Истину.

Шлиссельбургский ключ

более осмысленного человеческого бытия, чем ежедневное присутствие на празднике жизни, вряд ли стоило ожидать иной реакции на Париж. Но не они одни не находили в парижском существовании ожидаемой гармонии с собой и с миром. Проницательный Зигмунд Фрейд писал в 1885 году: «Я составил себе общее впечатление от Парижа и, став немного поэтичнее, мог бы сравнить его с гигантским прекрасным сфинксом, который пожирает всех приезжих, не способных решить его загадки».

Незримое присутствие некоего чудовища, пожирающего что-то самое важное в человеческом существе, обнаружил во французской столице и женевицкий гражданин с почти русской фамилией – Жан-Жак Руссо. Не желая стать очередной жертвой «гигантского прекрасного сфинкса», философ бежал из Парижа, как от проказы, и во всеуслышание объявил, что в этом городе с испорченными нравами опасно обитать чистой человеческой душе. Если человек не хочет пережить опустошения сердца, он должен искать счастья не среди парижских дворцов и особняков, не в модных салонах, где в ничего не значащих разговорах проходит драгоценная человеческая жизнь, а в Природе. Только она открывает человеческому сердцу истинную любовь к Богу, естественные законы бытия и подлинную свободу, которой человек обладал изначально, но утратил, когда стал поклоняться житейским благам, как идолам. Жан-Жак Руссо утверждал, что наша цивилизация, только и заботящаяся о материальном прогрессе, ведёт человечество всё дальше и дальше от того счастливого состояния, в котором могли бы пребывать люди. То есть всё дальше и дальше от рая...

То, что в «столице мира», каковой тогда считался Париж, наивно искать некоего утерянного для человека рай, знал и парижанин Поль Гоген. Даже когда он преуспевал в биржевой деятельности, имел солидный доход, жил на широкую ногу, был вроде счастливым мужем и отцом, то и тогда парижскую жизнь он воспринимал как хомут, в который человек впряжен поневоле. С утра до вечера – работа, а выходной... «Что делают мужья, особенно биржевики в воскресенье?» – вопрошал Гоген в одном из писем. И тут же отвечал: «Они либо бывают на бегах, либо в кафе, либо с проститутками, ибо надо же мужчинам развлекаться». Вот и весь парижский «парадиз»! Когда же на бирже разразился финансовый кризис и Гоген остался без постоянного источника доходов, без семьи (жена, забрав детей, уехала, на родину, в Данию), то Париж и вовсе стал ему просто противен. «Столице мира» нужны были деньги, деньги и только деньги и ей не было никакого дела до художника, имевшего желание с помощью живописи «подняться к божеству» и видевшего свою цель в том, чтобы каждый день «поступать, как наш божественный учитель, – творить». Художник, которого в трудные часы жизни могла поддержать теперь одна верная подруга – живо-

настоящее время, – писал он. – Мы завязли в трясине, хотя ещё и не мертвы». Тогда где же он, Эдем? И в какую сторону света нужно двинуться, чтобы обнаружить то место на Земле, где художник не будет испытывать на себе «гнусных поцелуев действительности» от буржуазно-ханжеского общества? Гоген для начала, как и Жан-Жак Руссо, бежал из Парижа, обрекавшего человека на нескончаемую погоню за быстроменяющейся модой во всем, даже в искусстве, в тихую деревню французской Бретани. Здесь, рядом с океаном, который, казалось, вместе с шумом нескончаемых волн доносил призывный голос «Отца всего сущего», в сердце художника воскресала надежда обрести нечто более значительное, чем привязанность к тому сиюминутному и прекрасному, что передавали на своих полотнах импрессионисты. Гоген ими восхищался, пытался даже подражать им, но потом понял, что это не его жизненное и художественное направление. Художник обнаружил в себе «таинственный центр мысли», звавший его куда-то дальше, к поиску «чего-то большего». Главное, хотелось сойти с «корабля-призрака», на котором эта уверенная в собственной непогрешимости западная цивилизация двигалась неизвестно куда, неизвестно зачем и по неизвестно какому Океану человеческого бытия.

«Проклятье Запада – унылый дым желаний, слов – пора проститься с ним, и Матери отдать живые силы...Восток мечты и жизни! Обрету я мир в твоём блаженнейшем саду, где Настоящим сделалось Былое, где новую отчизну я открою, где ни туманов, ни обманов нет. Всё – красота, всё – доброта, всё – Свет». В молодости Гоген путешествовал по океанским просторам в качестве моряка военных и торговых кораблей и не раз проплывал мимо островов, которые после знакомства с ними врезались в память как острова «вечной весны» или «очарованной земли», где человеческая жизнь как будто находилась в эдемской колыбели. Там, на этих островах, «счастливые обитатели неведомых райских кущ вкушают одну лишь сладость жизни. Там вечный отдых и радость жизни». «Я живу только надеждой на эту землю обетованную», – признавался в одном из писем Гоген. И однажды он решил осуществить свою мечту, отправившись жить на один из таких островов, заброшенных в безбрежном океане, – на Таити. «Я уезжаю, чтобы избавиться от цивилизации», – написал Гоген, прощаясь с Европой, которую тогда почему-то называли «старушкой», словно её молодость осталась в безвозвратном прошлом. Расставаться с этой пожилой «дамой» благообразного и несколько чопорного вида художнику было не жаль. Он чувствовал, что плывёт через океан навстречу с неуязвимой юностью – своей и общечеловеческой.

Высадившись на таитянский берег в июне 1891 года, Гоген сначала был неприятно удивлён. В местном порту, который был частью французской колонии, он увидел продажных девиц,

притоны и группы алкоголиков. От чего он бежал, с тем снова столкнулся лицом к лицу. Но потом он поселился в сорока пяти километрах от порта и наконец нашёл то, что так долго искал – чудом сохранившуюся, почти первозданную жизнь туземцев. В песнях, которые пели каждый вечер обитатели Таити, не было ни одной фальшивой ноты, а в их общении ни малейшего намека на лицемерие. Простота и естественность их поведения поразили воображение Гогена точно так же, как неизбежно для счастья. Аборигены свято верили в это и именовали свою землю «Ноа ноа» или «Наве наве фенуа». Перевести это можно было как «Счастливая, очень счастливая земля».

Здесь Гогену уже не надо было придумывать образ Евы. Её живое воплощение было с ним рядом. Молодая, красивая туземка, ставшая его женой, дарила художнику незнакомое европейцам ощущение изначальности бытия. «В уме её – легкость воздуха, во взгляде – беспокойная глубина вод... Она даёт обладать собою, но не даёт наступить пресыщению...Она, обновляясь, всё время обновляет. В ней есть нечто несказанно древнее, возвышенное, религиозное...Её золотистое лицо излучало счастье и озаряло всё вокруг. Как прекрасно было по утрам идти вместе к ближайшему ручью, чтобы освежиться, совсем, как Адам и Ева в раю...» В Европе молодая парижанка, идущая к лесному ручью без одежды, выглядела бы гетерой, но под таитянским небом всё было иначе. Здесь и телесная любовь не воспринималась как грехопадение. И обнаженные таитянки, которых Гоген изображал на своих полотнах, смотрели без тени смущения на зрителя, словно и не знали, как Адам и Ева в Эдемском Саду, что они наги. Они будто еще не отдавали плодов с Древа Познания, и потому их сердца были целомудренны и открыты для восприятия живой тайны человеческого существования.

«Откуда мы? Кто мы? Куда идём?» – такое название Гоген дал главной картине своей жизни, которую он написал на Таити быстро, почти в экстазе, когда из «сокровенных глубин его существа, как лава из вулкана, прорвалась наружу мысль», не дававшая ему покоя. На полотне – таитянки разных возрастов в извечном круге жизни от рождения до приближающейся предсмертной черты, когда человек, завершая пребывание на Земле, пытается понять, а был ли хоть какой-то смысл в его существовании и в какую вечность

он вот-вот отправится – ту, где царствуют тьма и небытие, или всё же ту, где есть Свет, озаряющий ликующими красками другое, неземное бытие? Гоген не знал ответа на эти вопросы, но писал свою картину так, будто покинул прежний ненадёжный «корабль-прирак» и вступил на твердую палубу другого «корабля», на котором можно было, уже не боясь своего исчезновения в НИКУДА, плыть бесконечно долго и бесконечно далеко к высокой, очень высокой цели вместе с этой землей, которую туземцы именовали «Ноа ноа». Точно так же Гоген назвал и свою книгу, рассказывающую об обретении им Эдема на Таити. Теперь это была уже и его СЧАСТЛИВАЯ ЗЕМЛЯ...

Я сидел в Летнем саду и, поглядывая на играющую солнечными бликами Фонтанку, невольно прислушивался к доносившемуся сюда будничному шуму Города, в котором, как в «парадизе», или Эдеме, чувствовал себя, наверно, только его основатель – Петр I. За три века существования Санкт-Петербурга больше не нашлось чудака, который бы обнаружил присутствие на невских берегах райской жизни. И в конце двадцатого века городская суэта здесь, как и в любом большом городе, могла с утра втянуть человека в свой водоворот и утаившего, измотанного выбросить для перемены лишь к вечеру. Здесь постоянно нужно было куда-то стремиться, куда-то ехать, куда-то идти, нервничать из-за спешки, из-за того, что срываются дорогие твоему сердцу планы, летят в тартарары несбывшиеся надежды. И даже когда судьба благоволит к тебе, когда кажется, что городской поток несёт тебя к желанной цели и, вроде, нечего желать лучшего, всё равно на каком-нибудь уличном повороте, в автомобильном заторе, сквозь жесткий неумолимый ритм города в твоём сознании может начать пульсировать, как свет звезды из далёкой галактики, неотвязная мысль: «Я неплохо бегу, шаг ровен, дыхание поставлено – а куда? зачем?» Вот если бы можно было «остановиться, оглянуться, внезапно, вдруг, на выраже, на том случайном этаже, где вам доводится проснуться...» и неожиданно для себя открыть ту Истину, ради которой человек живёт на этой Земле.

Ты не знаешь этой Истины, а древнеегипетские жрецы знали и посвящали в неё избранных, среди которых за полтора тысячелетия до новой эры оказался и библейский Моисей. Ему, как и всем прошедшим посвящение в сакральном комплексе пирамид в Гизе, был вручен Т-образный крест, символ которого означал Ключ Жизни. Вернее, Ключ к эдемской вечной Жизни. Этот знак был и в том коротком загадочном слове, которое передал народолюбцам на спиритическом сеансе в Санкт-Петербурге дух Моисея и которое было воспринято Николаем Морозовым как абракадабра.

Виктор МЕЛЬНИК
(Продолжение следует)